

**МИХАИЛ
БУЛГАКОВ**

ЗАПИСКИ НА
МАНЖЕТАХ

Михаил Булгаков
Записки на манжетах

«Public Domain»

1923

Булгаков М. А.

Записки на манжетах / М. А. Булгаков — «Public Domain», 1923

«... Постойте, что меня мучит? Credito непонятное? Сутолка? Нет, не то... Ах, да. Голова. Второй день болит. Мешает. Голова! И вот тут, сейчас, холодок странный пробежал по спине. А через минуту – наоборот: тело наполнилось сухим теплом, а лоб неприятный, влажный. В висках толчки. Простудился. Проклятый февральский туман! Лишь бы не заболеть... Лишь бы не заболеть!...»

Содержание

Часть первая	5
I	5
II. Что мы будем делать?!	8
III. Лампадка	10
IV. Вот он – подотдел	11
V. Камер-юнкер Пушкин	12
VI. Бронзовый воротник	14
VII. Мальчики в коробке	15
VIII. Сквозной ветер	16
IX. История с великими писателями	18
X. Портянка и черная мышь	20
XI. Не хуже Кнута Гамсуна	21
XII. Бежать, бежать!	22
XIII	24
XIV. Домой	26
Часть вторая	27
I. Московская бездна. Дювлам	27
II. Дом № 4, 6-й подъезд, 3-й этаж, кв. 50, комната 7	29
III. После Горького я – первый человек	30
IV. Я включаю Лито	32
V. Первые ласточки	34
VI. Мы развиваем энергию	35
VII. Неожиданный кошмар	36
VIII. 2-й подъезд, 1-й этаж, кв. 23, комната 40	38
IX. Полным ходом	39
X. Деньги! Деньги!	40
XI. О том, как нужно есть	43
XII. Гроза. Снег	45

Михаил Афанасьевич Булгаков

Записки на манжетах

*Плавающим, путешествующим и страждущим писателям
русским*

Часть первая

I

Сотрудник покойного «Русского слова», в гетрах и с сигарой, схватил со стола телеграмму и привычными профессиональными глазами прочел ее в секунду от первой строки до последней.

Его рука машинально выписала сбоку: «В 2 колонки», но губы неожиданно сложились дудкой: «Фью-ю!»

Он помолчал. Потом порывисто оторвал четвертушку и начертал:

До Тифлиса сорок миль...
Кто продаст автомобиль?

Сверху: «Маленький фельетон», сбоку: «Корпус», снизу: «Грач».

И вдруг забормотал, как диккенсовский Джингель:

– Тэк-с, тэк-с!.. Я так и знал!.. Возможно, что придется отчалить. Ну, что ж! В Риме у меня шесть тысяч лир. Credito Italiano. Что? Шесть... И, в сущности, я итальянский офицер! Да-с! Finita la comedia!

И, еще раз свистнув, двинул фуражку на затылок и бросился в дверь, с телеграммой и фельетоном.

– Стойте! – завопил я, опомнившись. – Стойте! Какое Credito? Finita?! Что? Катастрофа?!

Но он исчез.

Хотел выбежать за ним... но внезапно махнул рукой, вяло поморщился и сел на диванчик. Постойте, что меня мучит? Credito непонятное? Сутолка? Нет, не то... Ах, да. Голова. Второй день болит. Мешает. Голова! И вот тут, сейчас, холодок странный пробежал по спине. А через минуту – наоборот: тело наполнилось сухим теплом, а лоб неприятный, влажный. В висках толчки. Простудился. Проклятый февральский туман! Лишь бы не заболеть... Лишь бы не заболеть!..

Чужое все, но, значит, я привык за полтора месяца. Как хорошо после тумана. Дома. Утес и море в золотой раме. Книги в шкафу. Ковер на тахте шершавый, никак не уляжешься, подушка жесткая, жесткая... Но ни за что не встал бы. Какая лень! Не хочется руку поднять. Вот полчаса уже думаю, что нужно протянуть ее, взять со стула порошок с аспирином, и все не протяну...

– Мишуня, поставьте термометр!

– Ах, терпеть не могу!.. Ничего у меня нет...

* * *

Боже мой, Боже мой, Бо-о-же мой! Тридцать восемь и девять... да уж не тиф ли, чего доброго? Да нет. Не может быть! Откуда?! А если тиф?! Какой угодно, но только не сейчас! Это было бы ужасно... Пустяки. Мнительность. Простудился, больше ничего. Инфлюэнца. Вот на ночь приму аспириин и завтра встану, как ни в чем не бывало!

* * *

Тридцать девять и пять!

- Доктор, но ведь это не тиф? Не тиф? Я думаю, это просто инфлюэнца? А? Этот туман...
- Да, да... Туман. Дышите, голубчик... Глубже... Так!..
- Доктор, мне нужно по важному делу... Ненадолго. Можно?
- С ума сошли!..

* * *

Пышет жаром утес, и море, и тахта. Подушку перевернешь, только приложишь голову, а уж она горячая. Ничего... и эту ночь проваляюсь, а завтра пойду, пойду! И в случае чего – еду! Еду! Не надо распускаться! Пустычная инфлюэнца... Хорошо болеть. Чтобы был жар. Чтобы все забылось. Полежать, отдохнуть, но только, храни Бог, не сейчас!.. В этой дьявольской суматохе некогда почитать... А сейчас так хочется... Что бы такое? Да. Леса и горы. Но не эти проклятые, кавказские. А наши, далекие... Мельников-Печерский. Скит занесен снегом. Огонек мерцает, и баня топится... Именно леса и горы. Полцарства сейчас бы отдал, чтобы в жаркую баню, на полоч. Вмиг полегчало бы... А потом – голым кинуться в сугроб... Леса! Сосновые, дремучие... Корабельный лес. Петр в зеленом кафтане рубил корабельный лес. Понеже... Какое хорошее, солидное, государственное слово – по-не-же! Леса, овраги, хвоя ковром, белый скит. И хор монашек поет нежно и складно:

Взбранной воеводе победительная!..

Ах, нет! Какие монашки! Совсем их там нет! Где, бишь, монашки? Черные, белые, тонкие, васнецовские?..

- Ла-рисса Леонтьевна, где мо-наш-ки?!
- ...Бредит... бредит, бедный!..
- Ничего подобного. И не думаю бре-дить. Монашки! Ну, что вы, не помните, что ли? Ну, дайте мне книгу. Вон, вон, с третьей полки. Мельников-Печерский...
- Мишуня, нельзя читать!..
- Что-с? Почему нельзя? Да я завтра же встану! Иду к Петрову. Вы не понимаете. Меня бросят! Бросят!
- Ну, хорошо, хорошо, встанете! Вот книга.

Милая книга. И запах у нее старый, знакомый. Но строчки запрыгали, запрыгали, покривились. Вспомнил. Там, в скиту, фальшивые бумажки делали, романовские. Эх, память у меня была! Не монашки, а бумажки...

Сашки, канашки мои!..

– Ларисса Леонтьевна... Ларочка! Вы любите леса и горы? Я в монастырь уйду. Непременно! В глушь, в скит. Лес стеной, птичий гомон, нет людей... Мне надоела эта идиотская война! Я бегу в Париж, там напишу роман, а потом в скит. Но только завтра пусть Анна разбудит меня в восемь. Поймите, еще вчера я должен был быть у него... Поймите!

– Понимаю, понимаю, молчите!

* * *

Туман. Жаркий, красноватый туман. Леса, леса... и тихо слезится из расщелины в зеленом камне вода. Такая чистая, перекрученная хрустальная струя. Только нужно доползти. А там напьешься – и снимет как рукой! Но мучительно ползти по хвое, она липкая и колючая. Глаза открыть – вовсе не хвоя, а простыня.

– Гос-по-ди! Что это за простыня... Песком, что ли, вы ее посыпали?.. Пить!

– Сейчас, сейчас!..

– А-ах, теплая, дрянная!

– ...ужасно! Опять сорок и пять!

– ...пузырь со льдом...

– Доктор! Я требую... Немедленно отправить меня в Париж! Не желаю больше оставаться в России... Если не отправите, извольте дать мне мой бра... браунинг! Ларочк-а-а! Достаньте!..

– Хорошо. Хорошо. Достанем. Не волнуйтесь!..

* * *

Тьма. Просвет. Тьма... просвет. Хоть убейте, не помню...

Голова! Голова! Нет монашек, взбранной воеводе, а демоны трубят и раскаленными крючьями рвут череп. Го-ло-ва!..

* * *

Просвет... тьма. Просв... нет, уже больше нет! Ничего не ужасно, и все – все равно. Голова не болит.

Тьма и сорок один и одна

II. Что мы будем делать?!

Беллетрист Юрий Слезкин сидел в шикарном кресле. Вообще все в комнате было шикарно, и поэтому Юра казался в ней каким-то диким диссонансом. Голова, оголенная тифом, была точь-в-точь описанная Твенем мальчишкина голова (яйцо, посыпанное перцем). Френч, молью обгрызанный, и под мышкой – дыра. На ногах – серые обмотки. Одна – длинная, другая – короткая. Во рту – двухкопеечная трубка. В глазах – страх с тоской в чехарду играют.

– Что же те-перь бу-дет с на-ми? – спросил я и не узнал своего голоса. После второго приступа он был слаб, тонок и надтреснут.

– Что? Что?

Я повернулся на кровати и тоскливо глянул в окно, за которым тихо шевелились еще обнаженные ветви. Изумительное небо, чуть тронутое догорающей зарей, ответа, конечно, не дало. Промолчал и Слезкин, кивая обезображенной головой. Прошелестело платье в соседней комнате. Зашептал женский голос:

– Сегодня ночью ингуши будут грабить город...

Слезкин дернулся в кресле и поправил:

– Не ингуши, а осетины. Не ночью, а завтра с утра.

Нервно отозвались флаконы за стеной.

– Боже мой! Осетины?! Тогда это ужасно!

– Ка-кая разница?

– Как какая?! Впрочем, вы не знаете наших нравов. Ингуши когда грабят, то... они грабят. А осетины – грабят и убивают...

– Всех будут убивать? – деловито спросил Слезкин, пыхтя зловонной трубочкой.

– Ах, Боже мой! Какой вы странный! Не всех... Ну, кто вообще... Впрочем, что ж это я! Забыла. Мы волнуем больного.

Прошумело платье. Хозяйка склонилась ко мне.

– Я не вол-нуюсь...

– Пустяки, – сухо отрезал Слезкин, – пустяки!

– Что? Пустяки?

– Да это... Осетины там и другое. Вздор, – он выпустил клуб дыма.

Изнуренный мозг вдруг запел:

Мама! Мама! Что мы будем делать!

Слезкин усмехнулся одной правой щекой. Подумал. Вспыхнуло вдохновение.

– Подотдел искусств откроем!

– Это... что такое?

– Что?

– Да вот... подудел?

– Ах, нет. Под-от-дел!

– Под?

– Угу!

– Почему под?

– А это... Видишь ли, – он шевельнулся, – есть отнаробраз или обнаробраз. От. Понимаешь? А у него подотдел. Под. Понимаешь?!

– Наро-браз. Дико-браз. Барбюс. Барбос.

Взметнулась хозяйка.

– Ради Бога, не говорите с ним! Опять бредить начнет...

– Вздор! – строго сказал Юра. – Вздор! И все эти мингрельцы, имери... Как их? Черкесы. Просто дураки!

– Ка-кие?

– Просто бегают. Стреляют. В луну. Не будут грабить...

– А что с нами? Бу-дет?

– Пустяки. Мы откроем...

– Искусств?

– Угу! Все будет. Изо. Лито. Фото. Тео.

– Не по-ни-маю.

– Мишенька, не разговаривайте! Доктор...

– Потом объясню! Все будет! Я уж заведовал. Нам что? Мы аполитичны. Мы – искусство!

– А жить?

– Деньги за ковер будем бросать!

– За какой ковер?..

– Ах, это у меня в том городишке, где я заведовал, ковер был на стене. Мы, бывало, с женой, как получим жалованье, за ковер деньги бросали. Тревожно было. Но ели. Ели хорошо.

Паек.

– А я?

– Ты завлито будешь. Да.

– Какой?

– Мишуня! Я вас прошу!..

III. Лампадка

Ночь плывет. Смоляная, черная. Сна нет: лампадка трепетно светит. На улицах где-то далеко стреляют. А мозг горит. Туманится.

Мама! Мама!! Что мы будем делать?!

Строит Слезкин там. Наворачивает. Фото. Изо. Лито. Тео. Тео. Изо. Лизо. Тизо. Громоздит фотографические ящики. Зачем? Лито – литераторы. Несчастные мы! Изо. Физо. Ингуши сверкают глазами, скачут на конях. Ящики отнимают. Шум. В луну стреляют. Фельдшерица колет ноги камфарой: третий приступ!..

– О-о! Что же будет?! Пустите меня! Я пойду, пойду, пойду...

– Молчите, Мишенька, милый, молчите!

После морфия исчезают ингуши. Колышется бархатная ночь. Божественным глазком светит лампадка и поет хрустальным голосом:

– *Ма-а-ма. Ма-а-ма!*

IV. Вот он – подотдел

Солнце! За колесами пролеток пыльные облака... В гулком здании входят, выходят... В комнате на четвертом этаже два шкафа с оторванными дверцами; колченогие столы. Три барышни с фиолетовыми губами, то на машинках громко стучат, то курят.

Сидит в самом центре писатель и из хаоса лепит подотдел. Тео. Изо. Сизые актерские лица лезут на него и денег требуют.

После возвратного – мертвая зыбь. Пошатывает и тошнит. Но я заведу. Зав. Лито. Осваиваюсь.

– Завподиск. Наробраз. Литколлегия.

Ходит какой-то между столами. В сером френче и чудовищном галифе. Вонзается в группы, и те разваливаются. Как миноноска режет воду. На кого ни глянет – все бледнеют. Глаза под стол лезут. Только барышням – ничего! Барышням – страх не свойственен.

Подошел. Просверлил глазами, вынул душу, положил на ладонь и внимательно осмотрел. Но душа – кристалл!

Вложил обратно. Улыбнулся благосклонно.

– Завлито?

– Зав. Зав.

Пошел дальше. Парень будто ничего. Но не поймешь, что он у нас делает. На Тео не похож. На Лито тем более.

Поэтесса пришла. Черный берет. Юбка на боку застегнута, и чулки винтом. Стихи принесла.

Та, та, там, там.

В сердце бьется динамо-снаряд.

Та, та, там.

– Стишки – ничего... Мы их... того... как это... в концерте прочитаем.

Глаза у поэтессы радостные. Ничего барышня. Но почему чулки не подвяжет?

V. Камер-юнкер Пушкин

Все было хорошо. Все было отлично.

И вот пропал из-за Пушкина, Александра Сергеевича. Царствие ему Небесное!

Так было дело.

В редакции, под винтовой лестницей, свил гнездо цех местных поэтов. Был среди них юноша в синих студенческих брюках, та, с динамо-снарядом в сердце, дремучий старик, на шестидесятом году начавший писать стихи, и еще несколько человек.

Косвенно входил смелый, с орлиным лицом и огромным револьвером на поясе. Он первый свое, напоенное чернилами, перо вонзил с размаху в сердце недорезанных, шлявшихся по старой памяти на трек в бывшее летнее собрание. Под неумолчный гул мутного Терека он проклял сирень и грянул:

Довольно пели вам луну и чайку!
Я вам спою чрезвычайку!

Это было эффектно!

Затем другой прочитал доклад о Гоголе и Достоевском и обоих стер с лица земли. О Пушкине отозвался неблагоприятно, но вскользь. И посулил о нем специальный доклад. В одну из июньских ночей Пушкина он обработал на славу. За белые штаны, за «вперед гляжу я без боязни», за «камер-юнкерство и холопскую стихию», вообще за «псевдореволюционность и ханжество», за неприличные стихи и ухаживание за женщинами...

Обливаясь потом, в духоте, я сидел в первом ряду и слушал, как докладчик рвал на Пушкине белые штаны. Когда же, освежив стаканом воды пересохшее горло, он предложил в заключение Пушкина выкинуть в печку, я улыбнулся. Каюсь. Улыбнулся загадочно, черт меня возьми! Улыбка не воробей?

- Выступайте оппонентом.
- Не хочется.
- У вас нет гражданского мужества.
- Вот как? Хорошо, я выступлю.

И я выступил, чтоб меня черти взяли! Три дня и три ночи готовился. Сидел у открытого окна, у лампы с красным абажуром. На коленях у меня лежала книга, написанная человеком с огненными глазами.

...Ложная мудрость мерцает и тлеет
Пред солнцем бессмертным ума...

Говорил Он:

Клевету приемли равнодушно.

Нет, не равнодушно! Нет. Я им покажу! Я покажу! Я кулаком грозил черной ночи.

И показал! Было в цехе смятение. Докладчик лежал на обеих лопатках. В глазах публики читал я безмолвное, веселое:

– Дожми его! Дожми!.. ..

Но зато потом!! Но потом...

Я – «волк в овечьей шкуре». Я – «господин». Я – «буржуазный подголосок»...

.....

Я – уже не завлито. Я – не завтео.

Я – безродный пес на чердаке. Скорчившись сажу. Ночью позвонят – вздрагиваю.

.....

О, пыльные дни! О, душные ночи!..

* * *

И было в лето, от Р. Х. 1920-е, из Тифлиса явление. Молодой человек, весь поломанный и развинченный, со старушечьим морщинистым лицом, приехал и отрекомендовался: дебошир в поэзии. Привез маленькую книжечку, похожую на прейскуронт вин. В книжечке – его стихи.

Ландыш. Рифма: гадыш.

С ума сойду я, вот что!..

Возненавидел меня молодой человек с первого взгляда. Дебоширит на страницах газеты (4 полоса, 4 колонка). Про меня пишет. И про Пушкина. Больше ни про что. Пушкина больше, чем меня, ненавидит! Но тому что! Он там, идеже несть...

А я пропаду, как червяк.

VI. Бронзовый воротник

Что это за проклятый город Тифлис!

Второй приехал! В бронзовом воротничке. В бронзовом. Так и выступал в живом журнале. Не шучу я!!

В бронзовом, поймите!.. ..

Беллетриста Слезкина выгнали к черту. Несмотря на то, что у него всероссийское имя и беременная жена. А этот сел на его место. Вот тебе и изо, мизо. Вот тебе и деньги за ковер

.....

VII. Мальчики в коробке

Луна в венце. Мы с Юрием сидим на балконе и смотрим в звездный полог. Но нет облегчения. Через несколько часов погаснут звезды, и над нами вспыхнет огненный шар. И опять, как жуки на булавках, будем подыхать...

Через балконную дверь слышен непрерывный тоненький писк. У черта на куличках, у подножия гор, в чужом городе, в игрушечной тесной комнате, у голодного Слезкина родился сын. Его положили на окно в коробку с надписью:

«M-me Marie. Modes et Robes».

И он скулит в коробке.

– Бедный ребенок!

Не ребенок. Мы бедные!

Горы замкнули нас. Спит под луной Столовая гора. Далеко, далеко, на севере, бескрайние равнины... На юг – ущелья, провалы, бурливые реки. Где-то на западе – море. Над ним светит Золотой Рог...

...Мух на *tanglefoot*¹ видели?!

Когда затихает писк, идем в клетку.

Помидоры. Черного хлеба не помногу. И араки. Какая гнусная водка! Мерзость! Но выпьешь, и – легче.

И когда все кругом мертво спит, писатель читает мне свою новую повесть. Некому больше ее слушать. Ночь плывет. Кончает и, бережно свернув рукопись, кладет под подушку. Письменного стола нету.

До бледного рассвета мы шепчемся.

Какие имена на иссохших наших устах! Какие имена! Стихи Пушкина удивительно смягчают озлобленные души. Не надо злобы, писатели русские!

Только через страдание приходит истина... Это верно, будьте покойны! Но за знание истины ни денег не платят, ни пайка не дают. Печально, но факт.

¹ *Tanglefoot* – липкая бумага для ловли мух (англ.).

VIII. Сквозной ветер

Евреинов приехал. В обыкновенном белом воротничке. С Черного моря, проездом в Петербург.

Где-то на севере был такой город.

Существует ли теперь? Писатель смеется: уверяет, что существует. Но ехать до него долго: три года в теплушке. Целый вечер отдыхали мои глазыньки на белом воротничке. Целый вечер слушал рассказы о приключениях.

Братья писатели, в вашей судьбе...

Без денег сидел. Вещи украли...

...А на другой, последний вечер, у Слезкина, в насквозь прокуренной гостиной, представленной хозяйкой, сидел за пианино Николай Николаевич. С железной стойкостью он вынес пытку осмотра. Четыре поэта, поэтесса и художник (цех) сидели чинно и впивались глазами.

Евреинов находчивый человек:

– А вот «Музыкальные гримасы»...

И, немедленно повернувшись лицом к клавишам, начал. Сперва... Сперва о том, как слон играл в гостях на рояли, затем влюбленный настройщик, диалог между булатом и златом и, наконец, полька.

Через десять минут цех был приведен в состояние полнейшей негодности. Он уже не сидел, а лежал вповалку, взмахивал руками и стонал...

...Уехал человек с живыми глазами. Никаких гримас!..

* * *

Сквозняк подхватил. Как листья летят. Один – из Керчи в Вологду, другой – из Вологды в Керчь. Лезет взъерошенный Осип с чемоданом и сердится:

– Вот не доедем, да и только!

Натурально, не доедешь, ежели не знаешь, куда едешь!

* * *

Вчера ехал Рюрик Ивнев. Из Тифлиса в Москву.

– В Москве лучше.

Доездили до того, что однажды лег у канавы:

– Не встану! Должно же произойти что-нибудь!

Произошло: случайно знакомый подошел к канаве – и обедом накормил.

* * *

Другой поэт. Из Москвы в Тифлис.

– В Тифлисе лучше.

Третий – Осип Мандельштам. Вошел в пасмурный день и голову держал высоко, как принц. Убил лаконичностью:

– Из Крыма. Скверно. Рукописи у вас покупают?

– ...но денег не пла... – начал было я и не успел окончить, как он уехал. Неизвестно куда...

* * *

Беллетрист Пильняк. В Ростов, с мучным поездом, в женской кофточке.

– В Ростове лучше?

– Нет, я отдохнуть!!

Оригинал – золотые очки.

* * *

Серафимович – с севера.

Глаза усталые. Голос глухой. Доклад читает в цехе.

– Помните, у Толстого платок на палке? То прилипнет, то опять плещется. Как живой – платок... Этикетку как-то для водочной бутылки против пьянства писал. Написал фразу. Слово вычеркнул, сверху другое поставил. Подумал – еще раз перечеркнул. И так несколько раз. Но вышла фраза, как кованая... Теперь пишут... Необыкновенно пишут!.. Возьмешь. Раз прочтешь. Нет! Не понял. Другой раз – то же. Так и отложишь в сторону...

Местный цех in cogrore под стенкой сидит. Глаза такие, что будто они этого не понимают. Дело ихнее!

Уехал Серафимович... Антракт.

IX. История с великими писателями

Подотдельский декоратор нарисовал Антона Павловича Чехова с кривым носом и в таком чудовищном пенсне, что издали казалось, будто Чехов в автомобильных очках.

Мы поставили его на большой мольберт. Рыжих тонов павильон, столик с графином и лампочка.

Я читал вступительную статью «О чеховском юморе». Но оттого ли, что я не обедаю вот уже третий день, или еще почему-нибудь, у меня в голове было как-то мрачно. В театре – яблоку негде упасть. Временами я терялся. Видел сотни расплывчатых лиц, громоздившихся до купола. И хоть бы кто-нибудь улыбнулся. Аплодисмент, впрочем, дружный. Сконфуженно сообразил: это за то, что кончил. С облегчением убрался за кулисы. Две тысячи заработал, пусть теперь отдуваются другие. Проходя в курилку, слышал, как красноармеец тосковал:

– Чтоб их разорвало с их юмором! На Кавказ заехали, и тут голову морочат!..

Он совершенно прав, этот тульский воин. Я забился в свой любимый угол, темный угол, за реквизиторской. И слышал, как из зала понесся гул. Ура! Смеются. Молодцы актеры. «Хирургия» выручила и история о том, как чихнул чиновник.

Удача! Успех! В крысиный угол прибежал Слезкин и шипел, потирая руки:

– Пиши вторую программу!

Решили после «Вечера чеховского юмора» пустить «Пушкинский вечер».

Любовно с Юрием составляли программу.

– Этот болван не умеет рисовать, – бушевал Слезкин, – отдадим Марье Ивановне!

У меня тут же возникло зловещее предчувствие. По-моему, эта Марья Ивановна так же умеет рисовать, как я играть на скрипке... Я решил это сразу, как только она явилась в подотдел и заявила, что она ученица самого Н. (Ее немедленно назначили заведующей Изо.) Но так как я в живописи ничего не понимаю, то я промолчал.

* * *

Ровно за полчаса до начала я вошел в декораторскую и замер... Из золотой рамы на меня глядел Ноздрев. Он был изумительно хорош. Глаза наглые, выпуклые, и даже одна бакенбарда жиже другой. Иллюзия была так велика, что казалось, вот он громыхнет хохотом и скажет:

– А я, брат, с ярмарки. Поздравь: продулся в пух!

Не знаю, какое у меня было лицо, но только художница обиделась смертельно. Густо покраснела под слоем пудры, прищурилась.

– Вам, по-видимому... э... не нравится?

– Нет. Что вы. Хе-хе! Очень... мило. Мило очень... Только вот... бакенбарды...

– Что?.. Бакенбарды? Ну, так вы, значит, Пушкина никогда не видели! Поздравляю! А еще литератор! Ха-ха! Что ж, по-вашему, Пушкина бритым нарисовать?!

– Виноват, бакенбарды бакенбардами, но ведь Пушкин в карты не играл, а если и играл, то без всяких фокусов!

– Какие карты? Ничего не понимаю! Вы, я вижу, издеваетесь надо мной!

– Позвольте, это вы издеваетесь. Ведь у вашего Пушкина глаза разбойничьи!

– А-ах... та-ак!

Бросила кисть. От двери:

– Я на вас пожалуйюсь в подотдел!

* * *

Что было! Что было... Лишь только раскрылся занавес и Ноздрев, нахально ухмыляясь, предстал перед «потемневшим залом», прошелестел первый смех. Боже! Публика решила, что после чеховского юмора будет пушкинский юмор! Облившись холодным потом, я начал говорить о «северном сиянии на снежных пустынях словесности российской»... В зале хихикали на бакенбарды, за спиной торчал Ноздрев, и чудилось, что он бормочет мне:

– Ежели бы я был твоим начальником, я бы тебя повесил на первом дереве!

Так что я не выдержал и сам хихикнул. Успех был потрясающий, феноменальный. Ни до, ни после я не слышал по своему адресу такого грохота всплесков.

А дальше пошло crescendo... Когда в инсценировке Сальери отравил Моцарта, театр выразил свое удовольствие по этому поводу одобрительным хохотом и громовыми криками: «Bis!!!»

Крысиным ходом я бежал из театра и видел смутно, как дебошир в поэзии летел с записной книжкой в редакцию...

* * *

Так я и знал!.. На столбе газета, а в ней на четвертой полосе:

ОПЯТЬ ПУШКИН.

Столичные литераторы, укрывшиеся в местном подотделе искусств, сделали новую объективную попытку развратить публику, преподнеся ей своего кумира Пушкина. Мало того, что они позволили себе изобразить этого кумира в виде помещика-крепостника (каким, положим, он и был) с бакенбардами...

И т. д.

Господи! Господи! Дай так, чтобы дебошир умер! Ведь болеют же кругом сыпняком. Почему же не может заболеть он? Ведь этот кретин подведет меня под арест!..

О, чертова напудренная кукла Изо!

Кончено. Все кончено!.. Вечера запретили...

...Идет жуткая осень. Хлещет косой дождь. Ума не приложу, что ж мы будем есть? Что есть-то мы будем?!

Х. Портянка и черная мышь

.....
Голодный, поздним вечером, иду в темноте по лужам. Все заколочено. На ногах обрывки носков и рваные ботинки. Неба нет. Вместо него висит огромная портянка. Отчаянием я пьян. И бормочу:

– Александр Пушкин. Lumen coeli. Sancta rosa. И как гром его угроза.

Я с ума схожу, что ли?! Тень от фонаря побежала. Знаю: моя тень. Но она в цилиндре. На голове у меня кепка. Цилиндр мой я с голодухи на базар снес. Купили добрые люди... и парашу из него сделали. Но сердце и мозг не понесу на базар, хоть издохну.

Отчаяние. Над головой портянка, в сердце – черная мышь...

XI. Не хуже Кнута Гамсуна

Я голодаю.

ХII. Бежать, бежать!

– Сто тысяч... У меня сто тысяч!..

Я их заработал!

Помощник присяжного поверенного, из туземцев, научил меня. Он пришел ко мне, когда я молча сидел, положив голову на руки, и сказал:

– У меня тоже нет денег. Выход один – пьесу нужно написать. Из туземной жизни. Революционную. Продадим ее...

Я тупо посмотрел на него и ответил:

– Я не могу ничего написать из туземной жизни, ни революционного, ни контрреволюционного. Я не знаю их быта. И вообще, я ничего не могу писать. Я устал, и, кажется, у меня нет способности к литературе.

Он ответил:

– Вы говорите пустяки. Это от голоду. Будьте мужчиной. Быт – чепуха! Я насквозь знаю быт. Будем вместе писать. Деньги пополам.

С того вечера мы стали писать. У него была круглая жаркая печка. Его жена развешивала белье на веревке в комнате, а затем давала нам винегрет с постным маслом и чай с сахаринном. Он называл мне характерные имена, рассказывал обычаи, а я сочинял фабулу. Он тоже. И жена подсаживалась и давала советы. Тут же я убедился, что они оба гораздо более меня способны к литературе. Но я не испытывал зависти, потому что твердо решил про себя, что эта пьеса будет последним, что я пишу...

И мы писали.

Он нежился у печки и говорил:

– Люблю творить!

Я скрежетал пером...

Через семь дней трехактная пьеса была готова. Когда я перечитал ее у себя, в нетопленной комнате, ночью, я, не стыжусь признаться, заплакал! В смысле бездарности – это было нечто совершенно особенное, потрясающее! Что-то тупое и наглое глядело из каждой строчки этого коллективного творчества. Не верил глазам! На что же я надеюсь, безумный, если я так пишу?! С зеленых сырых стен и из черных страшных окон на меня глядел стыд. Я начал драть рукопись. Но остановился. Потому что вдруг, с необычайной чудесной ясностью, сообразил, что правы говорившие: написанное нельзя уничтожить! Порвать, сжечь... от людей скрыть. Но от самого себя – никогда! Кончено! Неизгладимо. Эту изумительную штуку я сочинил. Кончено!..

* * *

В туземном подотделе пьеса произвела фурор. Ее немедленно купили за двести тысяч. И через две недели она шла.

В тумане тысячного дыхания сверкали кинжалы, газыри и глаза. Чеченцы, кабардинцы, ингуши, после того как в третьем акте геройские наездники ворвались и схватили пристава и стражников, кричали:

– Ва! Подлец! Так ему и надо!

И вслед за подотдельскими барышнями вызывали: «Автора!»

За кулисами пожимали руки.

– Пирокрасная пьеса!

И приглашали в аул...

* * *

...Бежать! Бежать! На сто тысяч можно выехать отсюда. Вперед. К морю. Через море и море и Францию – сушу – в Париж!

...Косой дождь сек лицо, и, ежась в шинелишке, я бежал переулками в последний раз – домой...

...Вы – беллетристы, драматурги в Париже, в Берлине, попробуйте! Попробуйте, потехи ради, написать что-нибудь хуже! Будьте вы так способны, как Куприн, Бунин или Горький, вам это не удастся. Рекорд побил я! В коллективном творчестве. Писали же втроем: я, помощник поверенного и голодуха. В 21-м году, в его начале...

XIII

.....
Сгинул город у подножья гор. Будь ты проклят... Цихидзири. Махинджаури. Зеленый Мыс! Магнолии цветут. Белые цветы величиной с тарелку. Бананы. Пальмы! Клянусь, сам видел: пальма из земли растет. И море непрерывно поет у гранитной глыбы. Не лгали в книгах: солнце в море погружается. Краса морская. Высота поднебесная. Скала отвесная, а на ней ползучие растения. Чаква. Цихидзири. Зеленый Мыс.

Куда я еду? Куда? На мне последняя моя рубашка. На манжетах кривые буквы. А в сердце у меня иероглифы тяжкие. И лишь один из таинственных знаков я расшифровал. Он значит: горе мне! Кто растолкует мне остальные?!

* * *

На обточенных соленой водой голышах лежу, как мертвый. От голода ослабел совсем. С утра начинает, до поздней ночи болит голова. И вот ночь – на море. Я не вижу его, только слышу, как оно гудит. Прихлынет и отхлынет. И шипит опоздавшая волна. И вдруг из-за темного мыса – трехъярусные огни.

«Полацкий» идет на Золотой Рог.

.....
Слезы такие же соленые, как морская вода.

* * *

Видел поэта из неизвестных. Он ходил по Нури-Базару и продавал шляпу с головы. Кацо смеялись над ним.

Он стыдливо улыбался и объяснял, что не шутит. Шляпу продает потому, что у него деньги украли. Он лгал! У него давно уже не было денег. И он три дня не ел... Потом, когда мы пополам съели фунт чурека, он признался. Рассказал, что из Пензы едет в Ялту. Я чуть не засмеялся. Но вдруг вспомнил: а я?..

* * *

Чаша переполнилась. В двенадцать часов приехал «новый заведующий».

Он вошел и заявил:

– По иному пути пойдем! Не надо нам больше этой порнографии: «Горе от ума» и «Ревизора». Гоголи. Моголи. Свои пьесы сочиним!

Затем сел в автомобиль и уехал.

Его лицо навеки отпечталось у меня в мозгу.

* * *

Через час я продал шинель на базаре. Вечером идет пароход. Он не хотел меня пускать. Понимаете? Не хотел пускать!..

* * *

Довольно! Пусть светит Золотой Рог. Я не доберусь до него. Запас сил имеет предел. Их больше нет. Я голоден, я сломлен! В мозгу у меня нет крови. Я слаб и боязлив. Но здесь я больше не останусь. Раз так... значит... значит...

XIV. Домой

Домой. По морю. Потом в теплушке. Не хватит денег – пешком. Но домой! Жизнь погублена. Домой! В Москву! В Москву!!

...В Москву!

.....

Прощай, Цихидзири. Прощай, Махинджаури. Зеленый Мыс!

Часть вторая

І. Московская бездна. Дювлам

Бездонная тьма. Лязг. Грохот. Еще катят колеса, но вот тише, тише. И стали. Конеч. Самый настоящий, всем концам конец. Больше ехать некуда. Это – Москва. М-о-с-к-в-а.

На секунду внимание долгому мощному звуку, что рождается в тьме. В мозгу жуткие раскаты:

– C'est la lu-u-tte fina-a-le!

... L'Internationa-a-a-le!!

И здесь – так же хрипло и страшно:

С Интернационалом!!

Во тьме – теплушек ряд. Смолк студенческий вагон...

Вниз, решившись наконец, прыгнул. Какое-то мягкое тело выскользнуло из-под меня со стоном. Затем за рельс зацепился и еще глубже куда-то провалился. Боже, неужели действительно бездна под ногами?..

Серые тела, взвалив на плечи чудовищные грузы, потекли... потекли...

Женский голос:

– Ах... не могу!

Разглядел в черном тумане курсистку-медичку. Она, скорчившись, трое суток проехала рядом со мной.

– Позвольте, я возьму.

На мгновение показалось, что черная бездна качнулась и позеленела. Да сколько же тут?

– Три пуда... Утапывали муку.

Качаясь, в искрах и зигзагах, на огни.

От них дробятся лучи. На них ползет невиданная серая змея. Стекланный купол. Долгий, долгий гул. В глаза ослепляющий свет. Билет. Калитка. Взрыв голосов. Тяжко упало ругательство. Опять тьма. Опять луч. Тьма. Москва! Москва.

Воз нагружился до куполов церквей, до звезд на бархате. Гремя, катился, и демонические голоса серых балахонов ругали цеплявшийся воз и того, кто чмокал на лошадь. За возом шла стая. И длинное беловатое пальто курсистки показывалось то справа, то слева. Но выбрались наконец из путаницы колес, перестали мелькать бородатые лики. Поехали, поехали по изодранной мостовой. Все тьма. Где это? Какое место? Все равно. Безразлично. Вся Москва черна, черна, черна. Дома молчат. Сухо и холодно глядят. О-хо-хо. Церковь проплыла. Вид у нее неясный, растерянный. Ухнула во тьму.

Два часа ночи. Куда же идти ночевать? Домов-то, домов! Чего проще... В любой постучать. Пустите переночевать. Вообража-аю!

Голос медички:

– А вы куда?

– А не знаю.

– То есть как?..

...Есть добрые души на свете. Рядом, видите ли, комната квартиранта. Он еще не приехал из деревни. На одну ночь устройтесь...

– О, очень вам благодарен. Завтра я найду знакомых.

Стало немного веселее на душе. И, чудное дело, сразу, как только выяснилось, что ночь под крышей, тут вдруг почувствовалось, что три ночи не спали.

На мосту две лампы дробят мрак. С моста опять бултыхнули в тьму. Потом фонарь. Серый забор. На нем афиша. Огромные, яркие буквы. Слово. Батюшки! Что ж за слово-то? Дювлам. Что ж значит-то? Значит-то что ж?

Двенадцатилетний юбилей Владимира Маяковского.

Воз остановился. Снимали вещи. Присел на тумбочку и, как зачарованный, уставился на слово. Ах, слово хорошо! А я, жалкий провинциал, хихикал в горах на завподиска! Куда ж, к черту. Ан Москва не так страшна, как ее малютки. Мучительное желание представить себе юбиляра. Никогда его не видел, но знаю... знаю. Он лет сорока, очень маленького роста, лысенький, в очках, очень подвижной. Коротенькие подвернутые брючки. Служит. Не курит. У него большая квартира с портьерами, уплотненная присяжным поверенным, который теперь не присяжный поверенный, а комендант казенного здания. Живет в кабинете с нетопящимся камином. Любит сливочное масло, смешные стихи и порядок в комнате. Любимый автор – Конан Дойль. Любимая опера – «Евгений Онегин». Сам готовит себе на примусе котлеты. Терпеть не может поверенного-коменданта и мечтает, что выселит его рано или поздно, женится и славно заживет в пяти комнатах.

Воз скрипнул, дрогнул, проехал, опять стал. Ни грозы, ни бури не повалили бессмертного гражданина Ивана Ивановича Иванова. У дома, в котором в темноте, от страха, показалось этажей пятнадцать, воз заметно похудел. В чернильном мраке от него к подъезду металась фигурка и шептала: «Папа, а масло?.. папа, а сало?.. папа, а белая?..»

Папа стоял во тьме и бормотал: «Сало... так, масло... так, белая, черная... так».

Затем вспышка вырвала из крошечного ада папин короткий палец, который отслонил двадцать бумажек ломовику.

Будут еще бури. Ох, большие будут бури! И все могут помереть. Но папа не умрет!

* * *

Воз превратился в огромную платформу, на которой затерялся курсисткин мешок и мой саквояж. И мы сели, свесив ноги, и уехали в темную глубь.

II. Дом № 4, 6-й подъезд, 3-й этаж, кв. 50, комната 7

В сущности говоря, я не знаю, почему я пересек всю Москву и направился именно в это колоссальное здание. Та бумажка, которую я бережно вывез из горного царства, могла иметь касательство ко всем шестиэтажным зданиям, а вернее, не имела никакого касательства ни к одному из них.

В 6-м подъезде у сетчатой трубы мертвого лифта. Отдышался. Дверь. Две надписи. «Кв. 50». Другая загадочная: «Худо». Отдышаться. Как-никак, а ведь решается судьба.

Толкнул незапертую дверь. В полутемной передней огромный ящик с бумагой и крышка от рояля. Мелькнула комната, полная женщина в дыму. Дробно застучала машинка. Стихла. Басом кто-то сказал: «Мейерхольд».

– Где Лито? – спросил я, облокотившись на деревянный барьер.

Женщина у барьера раздраженно повела плечами. Не знает. Другая – не знает. Но вот темноватый коридор. Смутно, наугад. Открыл одну дверь – ванная. А на другой двери – маленький клок. Прибит косо, и край завернулся. Ли... А, слава Богу. Да, Лито. Опять сердце. Из-за двери слышались голоса: «Ду-ду-ду...»

Закрыв глаза на секунду и мысленно представил себе. Там. Там – вот что: в первой комнате ковер огромный, письменный стол и шкафы с книгами. Торжественно тихо. За столом секретарь – вероятно, одно из имен, знакомых мне по журналам. Дальше двери. Кабинет заведующего. Еще большая глубокая тишина. Шкафы. В кресле, конечно, кто? Лито? В Москве? Да, Горький Максим: «На дне», «Мать». Больше кому же? «Ду-ду-ду...» Разговаривают... А вдруг это Брюсов с Белым?..

И я легонько стукнул в дверь. «Ду-ду-ду» прекратилось, и глухо: «Да!» Потом опять «ду-ду-ду». Я дернул за ручку, и она осталась у меня в руках. Я замер: хорошенькое начало карьеры – сломал! Опять постучал. «Да! Да!»

– Не могу войти! – крикнул я.

В замочной скважине прозвучал голос:

– Вверните ручку вправо, потом влево, вы нас заперли...

Вправо, влево, дверь мягко подалась, и...

III. После Горького я – первый человек

Да я не туда попал! Лито? Плетеный дачный стул. Пустой деревянный стол. Раскрытый шкаф. Маленький столик кверху ножками в углу. И два человека. Один высокий, очень молодой, в пенсне. Бросились в глаза его обмотки. Они были белые, в руках он держал потрескавшийся портфель и мешок. Другой – седоватый старик с живыми, чуть смеющимися глазами, был в папаше, солдатской шинели. На ней не было места без дыры, и карманы висели ключьями. Обмотки серые и лакированные бальные туфли с бантами.

Потухшим взором я обвел лица, затем стены, ища двери дальше. Но двери не было. Комната с оборванными проводами была глуха. Tout.

Как-то косноязычно:

– Это... Лито?

– Да.

– Нельзя ли видеть заведующего?

Старик ласково ответил:

– Это я.

Затем взял со стола огромный лист московской газеты, отодрал от нее четвертушку, высыпал махорки, свернул козью ногу и спросил у меня:

– Нет ли спичечки?

Я машинально чиркнул спичкой, а затем под ласково-вопросительным взглядом старика достал из кармана заветную бумажку.

Старик наклонился над ней, а я в это время мучительно думал о том, кто бы он мог быть... Больше всего он походил на обритого Эмиля Золя.

Молодой, перегнувшись через плечо старому, тоже читал. Кончили и посмотрели на меня как-то растерянно и с уважением.

Старик:

– Так вы?..

Я ответил:

– Я хотел бы должность в Лито.

Молодой восхищенно крикнул:

– Великолепно!.. Знаете...

Подхватил старика под руку. Загудел шепотом:

– Ду-ду-ду...

Старик повернулся на каблуках, схватил со стола ручку. А молодой сказал скороговоркой:

– Пишите заявление.

Заявление у меня было за пазухой. Я подал.

Старик взмахнул ручкой. Она сделала: «кряк!» и прыгнула, разорвав бумагу. Он ткнул ее в баночку. Но та была суха.

– Нет ли карандашика?

Я вынул карандаш, и заведующий косо написал: «Прошу назначить секретарем Лито». Подпись.

Открыв рот, я несколько секунд смотрел на лихой росчерк.

Молодой дернул меня за рукав:

– Идите вверх, скорей, пока он не уехал. Скорей.

И я стрелой полетел вверх. Ворвался в двери, пронесся через комнату с женщинами и вошел в кабинет. В кабинете сидящий взял мою бумагу и черкнул: «Назн. секр.» Буква. Закорючка. Зевнул и сказал:

– Вниз.

В тумане летел опять вниз. Мелькнула машинка. Не бас, а серебристое сопрано сказало:
«Мейерхольд. Октябрь театра...»

Молодой бушевал вокруг старого и хохотал:

– Назначил? Прекрасно! Мы устроим! Мы все устроим!

Тут он хлопнул меня по плечу:

– Ты не унывай! Все будет.

Я не терплю фамильярности с детства и с детства же был ее жертвой. Но тут я так был раздавлен всеми событиями, что только и мог сказать расслабленно:

– Но столы... стулья... чернила, наконец!

Молодой крикнул в азарте:

– Будет! Молодец! Все будет!

И, повернувшись в сторону старика, подмигнул на меня:

– Деловой парняга! Как он это про столы сразу! Он нам все наладит!

* * *

«Назн. секр.» Господи! Лито. В Москве. Максим Горький... На дне. Шехерезада... Мать.

* * *

Молодой потрянул мешком, расстелил на столе газету и высыпал на нее фунтов пять гороху.

– Это вам. Четверть пайка.

IV. Я включаю Лито

Историку литературы не забыть:

В конце 21-го года литературой в Республике занималось три человека: старик (драмы; он, конечно, оказался не Эмиль Золя, а незнакомый мне), молодой (помощник старика, тоже незнакомый – стихи) и я (ничего не писал).

Историку же: в Лито не было ни стульев, ни столов, ни чернил, ни лампочек, ни книг, ни писателей, ни читателей. Коротко: ничего не было.

И я. Да, я из пустоты достал конторку красного дерева, старинную. В ней я нашел старый, пожелтевший золотообрезный картон со словами: «... дамы в полуоткрытых бальных платьях. Военные в сюртуках с эполетами; гражданские в мундирных фраках и лентах. Студенты в мундирах. Москва, 1899 г.»

И запах нежный и сладкий. Когда-то в ящике лежал флакон дорогих французских духов. За конторкой появился стул. Чернила и бумага и, наконец, барышня, медлительная, печальная.

По моему приказу она разложила на столе стопками все, что нашлось в шкафу: брошюры о каких-то «вредителях», двенадцать номеров петербургской газеты, пачку зеленых и красных билетов, приглашающих на съезд губотделов. И сразу стало похоже на канцелярию. Старый и молодой пришли в восторг. Нежно похлопали меня по плечу и куда-то исчезли.

* * *

Часами мы сидели с печальной барышней. Я за конторкой, она за столом. Я читал «Трех мушкетеров» неподражаемого Дюма, которого нашел на полу в ванной, барышня сидела молча и временами тяжело и глубоко вздыхала.

Я спросил:

– Чего вы плачете?

В ответ она зарыдала и заломила руки. Потом промолвила:

– Я узнала, что вышла замуж по ошибке за бандита.

Я не знаю, есть ли на свете штука, которой можно было бы меня изумить после этих двух лет. Но тут... тупо посмотрел на барышню...

– Не плачьте. Бывает.

И попросил рассказать.

Она, вытирая платочком слезы, рассказала, что вышла замуж за студента, сделала увеличительный снимок с его карточки, повесила в гостиной. Пришел агент, посмотрел на снимок и сказал, что это вовсе не Карасев, а Дольский, он же Глузман, он же Сенька Момент.

– Мо-мент, – говорила бедная барышня и вздрагивала и утиралась.

– Удрал он? Ну и плюньте.

* * *

Однако уже три дня. И ничего. Никто не приходил. Вообще ничего, Я и барышня...

Меня осенило сегодня: Лито не включено. Над нами есть какая-то жизнь. Топают ногами. За стеной тоже что-то. То глухо затарахтят машины, то смех. Туда приходят какие-то люди с бритыми лицами. Мейерхольд феноменально популярен в этом здании, но самого его нет.

У нас же ничего. Ни бумаг. Ничего. Я решил включить Лито.

По лестнице поднималась женщина с пачкой газет. На верхней красным карандашом написано «В Изо».

– А в Лито?

Она испуганно посмотрела и не ответила ничего. Я поднялся вверх. Подошел к барышне, сидевшей под плакатом: «Секретарь».

Выслушав меня, она испуганно посмотрела на соседку.

– А ведь верно, Лито... – сказала первая.

Вторая отозвалась:

– Им, Лидочка, есть бумага.

– Почему же вы ее не прислали? – спросил я ледяным тоном.

Посмотрели они напряженно:

– Мы думали – вас нет.

* * *

Лито включено. Вторая бумага пришла сегодня сверху от барышень. Приносит женщина в платке. С книгой: «Распишитесь».

Написал бумагу в хозяйственный отдел: «Дайте машину». Через два дня пришел человек, пожал плечами:

– Разве вам нужна машина?

– Я думаю, что больше, чем кому бы то ни было в этом здании.

Старик отыскался. Молодой тоже. Когда старик увидел машину и когда я сказал, что ему нужно подписать бумаги, он долго смотрел на меня пристально, пожевал губами:

– В вас что-то такое есть. Нужно было бы вам похлопотать об академическом пайке.

Мы с женой бандита начали составлять требовательную ведомость на жалованье. Лито зацепилось за общий ход.

Моему будущему биографу: это сделал я.

У. Первые ласточки

Утром в одиннадцать вошел молодой, по-видимому, очень озябший поэт. Тихо сказал: «Шторн».

– Чем могу вам служить?

– Я хотел бы получить место в Лито.

Я развернул листок с надписью: «Штаты». В Лито полагается восемнадцать человек.

Смутно я лелеял такое распределение:

Инструктора по поэтической части:

Брюсов, Белый... и т. д.

Прозаики:

Горький, Вересаев, Шмелев, Зайцев, Серафимович... и т. д.

Но никто из перечисленных не являлся.

И смелой рукой я черкнул на прошении Шторна: «Пр. назн. INSTR. За завед.» Буква.

Завитушка.

– Идите наверх, пока он не уехал.

Потом пришел кудрявый, румяный и очень жизнерадостный поэт Скарцев.

– Идите наверх, пока он не уехал.

Из Сибири приехал необыкновенно мрачный в очках, лет двадцати пяти, сбитый так плотно, что казался медным.

– Идите наверх...

Но он ответил:

– Никуда я не пойду.

Сел в угол на сломанный, шатающийся стул, вынул четвертушку бумаги и стал что-то писать короткими строчками. По-видимому, бывалый человек.

Открылась дверь и вошел в хорошем, теплом пальто и котиковой шапке некто. Оказалось, поэт. Саша.

Старик написал магические слова, Саша осмотрел внимательно комнату, задумчиво потрогал висящий оборванный провод, заглянул зачем-то в шкаф. Вдохнул.

Подсел ко мне – конфиденциально:

– Деньги будут?..

VI. Мы развиваем энергию

За столами не было места. Писали лозунги все и еще один новый, подвижной и шумный, в золотых очках, называвший себя «король репортеров». Король явился – на другое утро после получения нами аванса, без четверти девять, со словами:

– Слушайте, говорят, тут у вас деньги давали?

И поступил на службу к нам.

История лозунгов была такова.

Сверху пришла бумага:

Предлагается Лито к 12 час. дня такого-то числа в срочном порядке представить ряд лозунгов.

Теоретически это дело должно было обстоять так: старик при моем соучастии должен был издать какой-то приказ или клич по всему пространству, где только предполагалось – есть писатели. Лозунги должны были посылаяться со всех сторон: телеграфно, письменно и устно. Затем комиссия должна была выбрать из тысяч лозунгов лучшие и представить их к 12 час. такого-то числа. Затем я и подведомственная мне канцелярия (т. е. печальная жена разбойника) составить требовательную ведомость, получить по ней и выплатить наиболее достойным за наилучшие лозунги. Но это теория. На практике же:

1) Никакого клича кликнуть было невозможно, ибо некого было кликать. Литераторов в то время в поле зрения было: все перечисленные плюс король.

2) Исключалось первым: никакого, стало быть, наплыва лозунгов быть не могло.

3) К 12 час. дня такого-то числа лозунги представить было невозможно по той причине, что бумага пришла в 1 ч. 26 мин. этого самого такого-то числа.

4) Ведомость можно было и не писать, так как никакой такой графы «на лозунги» не было. Но —

У старика была маленькая заветная сумма: на разъезды.

Поэтому:

а) Лозунги в срочном порядке писать всем, находящимся налицо.

б) Комиссию для рассмотрения лозунгов составить для полного ее беспристрастия также из всех находящихся налицо.

с) За лозунги уплатить по 15 тыс. за штуку, выбрав наилучшие.

Сели в 1 ч. 50 мин., а в 3 ч. лозунги были готовы. Каждый успел выдать из себя по 5–6 лозунгов, за исключением короля, написавшего 19 в стихах и прозе.

Комиссия была справедлива и строга.

Я – писавший лозунги – не имел ничего общего с тем мною, который принимал и критиковал лозунги.

В результате принято:

у старика – 3 лозунга,

у молодого – 3 лозунга,

у меня – 3 лозунга

и т. д., и т. д.

Словом: каждому 45 тысяч.

* * *

У-у, как дует... Вот оно, вот, начинает моросить. Пирог на Трубе с мясом, сырой от дождя, но вкусный до остервенения. Трубочку сахарину. Два фунта белого хлеба.

Обогнал Шторна. Он тоже что-то жевал.

VII. Неожиданный кошмар

...Клянусь, это сон!! Что же это, колдовство, что ли?!

Сегодня я опоздал на два часа на службу.

Ввернул ручку, открыл, вошел и увидел: комната была пуста. Но как пуста! Не только не было столов, печальной женщины, машинки... не было даже электрических проводов. Ничего.

Значит, это был сон... Понятно... понятно...

Давно уже мне кажется, что кругом мираж. Зыбкий мираж. Там, где вчера... Впрочем, черт, почему вчера?! Сто лет назад... в вечности... может быть, не было вовсе... может быть, сейчас нет?.. Канатчикова дача!..

Значит, добрый старик... молодой... печальный Шторн... машинка... лозунги... не было?

Было. Я не сумасшедший. Было, черт возьми!!

Ну, так куда же оно делось?..

Нетвердой походкой, стараясь скрыть взгляд под веками (чтобы сразу не взяли и не свезли), пошел по полутемному коридорчику. И тут окончательно убедился, что со мной происходит что-то неладное. Во тьме над дверью, ведущей в соседнюю, освещенную, комнату, загорелась огненная надпись, как в кинематографе:

1836

МАРТА 25-ГО ЧИСЛА СЛУЧИЛОСЬ В ПЕТЕРБУРГЕ
НЕОБЫКНОВЕННО СТРАННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. ЦИРЮЛЬНИК ИВАН
ЯКОВЛЕВИЧ...

Я не стал дальше читать и в ужасе выскользнул. У барьера остановился, глубже спрятал глаза и спросил глухо:

– Скажите, вы не видели, куда делось Лито?

Раздражительная, мрачная женщина с пунцовой лентой в черных волосах ответила:

– Ах, какое Лито... Я не знаю.

Я закрыл глаза. Другой женский голос участливо сказал:

– Позвольте, это совсем не здесь. Вы не туда попали. Это на Волхонке.

Я сразу озяб. Вышел на площадку. Вытер пот со лба. Решил идти назад через всю Москву к Разумихину. Забыть все. Ведь если я буду тих, смолчу, никто никогда не узнает. Буду жить на полу у Разумихина. Он не прогонит меня – душевнобольного.

* * *

Но последняя слабенькая надежда еще копошилась в сердце. И я пошел. Пошел. Это шестиэтажное здание было положительно страшно. Все пронизано продольными ходами, как муравейник, так что его все можно было пройти из конца в конец, не выходя на улицу. Я шел по темным извилинам, временами попадал в какие-то ниши за деревянными перегородками. Горели красноватые неэкономические лампочки. Встречались озабоченные люди, которые стремились куда-то. Десятки женщин сидели. Тарахтели машинки. Мелькали надписи. Финчасть. Нацмен. Попадая на светлые площадки, опять уходил в тьму. Наконец вышел на площадку, тупо посмотрел кругом. Здесь было уже какое-то другое царство... Глупо... Чем дальше я ухожу, тем меньше шансов найти заколдованное Лито. Безнадежно. Я спустился вниз и вышел на улицу. Оглянулся: оказывается, 1-й подъезд...

...Злой порыв ветра. Небо опять стало лить холодные струи. Я глубже надвигал летнюю фуражку, поднимал воротник шинели. Через несколько минут через огромные щели у самой

подошвы сапоги наполнились водой. Это было облегчением. Я не тешил себя мыслью, что мне удастся добраться домой сухим. Не перепрыгивал с камешка на камешек, удлиняя свой путь, а пошел прямо по лужам.

VIII. 2-й подъезд, 1-й этаж, кв. 23, комната 40

Огненная надпись:

«ЧЕПУХА СОВЕРШЕННАЯ ДЕЛАЕТСЯ НА СВЕТЕ. ИНОГДА
ВО ВСЕ НЕТ НИКАКОГО ПРАВДОПОДОБИЯ: ВДРУГ ТОТ САМЫЙ
НОС, КОТОРЫЙ РАЗЪЕЗЖАЛ В ЧИНЕ СТАТСКОГО СОВЕТНИКА И
НАДЕЛАЛ СТОЛЬКО ШУМУ В ГОРОДЕ, ОЧУТИЛСЯ, КАК НИ В ЧЕМ НЕ
БЫВАЛО, ВНОВЬ НА СВОЕМ МЕСТЕ...»

Утро вечера мудренее. Это сущая правда. Когда утром я проснулся от холода и сел на диване, ероша волосы, показалось немного яснее в голове.

Логически: все же было оно? Ну, было, конечно. Я ведь помню и какое число, и как меня зовут. Куда-то делось... Ну так, значит, нужно его найти. Ну, а как же рядом-то женщины? На Волхонке... А, вздор! У них, у этих женщин, из-под носа могут украсть что угодно. Вообще я не знаю, зачем их держат, этих женщин. Казнь египетская.

Одевшись и напившись воды, которой я запас с вечера в стакане, съел кусочек хлеба, одну картофелину и составил план.

6 подъездов по 6 этажей в каждом = 36. 36 раз по 2 квартиры = 72. 72 раза по 6 комнат = 432 комнаты. Мыслимо найти? Мыслимо. Вчера прошел без системы две-три горизонтали. Сегодня систематически я обыщу весь дом в вертикальном и горизонтальном направлении. И найду. Если только, конечно, оно не нырнуло в четвертое измерение. Если в четвертое, тогда – да. Конец.

* * *

У 2-го подъезда носом к носу – Шторн!

Боже ты мой! Родному брату...

Оказалось: вчера за час до моего прихода явился заведующий административной частью с двумя рабочими и переселил Лито во 2-й подъезд, 1-й этаж, кв. 23, комн. 40.

На наше же место придет секция Музо.

– Зачем?!

– Я не знаю. А почему вы не пришли вчера? Старик волновался.

– Да помилуйте! Откуда же я знаю, куда вы делись? Оставили бы записку на двери.

– Да мы думали – вам скажут...

Я скрипнул зубами.

– Вы видели этих женщин? Что рядом...

Шторн сказал:

– Это верно.

IX. Полным ходом

...Получив комнату, я почувствовал, что в меня влилась жизнь. В Лито ввинтили лампу. Достал ленту для машины. Потом появилась вторая барышня. «Пр. назн. делопроизв.»

Из провинции начали присылать рукописи. Затем еще одна великолепная барышня. Журналистка. Смешливая, хороший товарищ. «Пр. назн. секрет. бюро художествен. фельетонов».

Наконец, с юга молодой человек. Журналист. И ему написали последнее «Пр.» Больше мест не было. Лито было полно. И грянула работа.

Х. Деньги! Деньги!

Двенадцать таблеток сахарину, и больше ничего...

...Простыня или пиджак?..

О жалованье ни слуху ни духу.

...Сегодня поднялся наверх. Барышни встретили меня очень сухо. Они почему-то терпеть не могут Лито.

– Позвольте нашу ведомость проверить.

– Зачем вам?

– Хочу посмотреть, все ли внесены.

– Обратитесь к madame Крицкой.

Madame Крицкая встала, качнула пучком седеющих волос и сказала, побледнев:

– Она затерялась.

Пауза.

– И вы молчали?

Madame Крицкая плаксиво:

– Ах, у меня голова кругом идет. Что тут делается – уму непостижимо. Семь раз писала ведомость – возвращают. Не так. Да вы все равно не получите жалованья. Там у вас в списке кто-то не проведен приказом.

* * *

Все к черту! Некрасова и воскресших алкоголиков. Бросился сам. Опять коридоры. Мрак. Свет. Свет. Мрак. Мейерхольд. Личный состав. Днем лампы горят. Серая шинель. Женщина в мокрых валенках. Столы.

– Кто у вас не проведен приказом?!

Ответ:

– Ни один не проведен.

Но самое лучшее: не проведен основоположник Лито – старик! Что? И я сам не проведен?! Да что же это такое?!

– Вы, вероятно, не писали анкету?

– Я не писал? Я написал у вас четыре анкеты. И лично вам дал их в руки. С теми, что я писал раньше, будет – 113 анкет.

– Значит, затерялась. Пишите наново.

* * *

Три дня так прошло. Через три дня все восстановлены в правах. Написаны новые ведомости.

Я против смертной казни. Но если madame Крицкую поведут расстреливать, я пойду смотреть. То же и барышню в котиковой шапочке. И Лидочку, помощницу делопроизводителя.

...Вон! Помелом!..

Madame Крицкая осталась с ведомостями на руках, и я торжественно заявляю: она их не двинет дальше. Я не могу понять, почему этот дьявольский пучок оказался здесь. Кто мог ей поручить работу! Тут действительно Рок!

* * *

Прошла неделя. Был в 5-м этаже, в 4-м подъезде. Там ставили печать. Нужна еще одна, но не могу нигде 2-й день поймать председателя тарифно-расценочной комиссии.

Простыню продал.

* * *

Денег не будет раньше чем через две недели.

* * *

Пронесся слух, что всем в здании выдадут по 500 авансом.

* * *

Слух верный. Все сидели, составляли ведомости. Четыре дня.

* * *

Я шел с ведомостями на аванс. Все достал. Все печати налицо. Но дошел до того, что, пробегая из 2-го этажа в 5-й, согнул в ярости в коридоре какой-то железный болт, торчащий из стены.

Сдал ведомости. Их пошлют в другое какое-то здание на другой конец Москвы... Там утвердят. Вернут. Тогда деньги...

* * *

Сегодня я получил деньги. Деньги!

За 10 минут до того, как идти в кассу, женщина в 1-м этаже, которая должна была поставить последнюю печать, сказала:

– Неправильно по форме. Надо задержать ведомость.

Не помню точно, что произошло. Туман.

Кажется, что я что-то болезненно выкрикнул. Вроде:

– Вы издеваетесь надо мной?

Женщина раскрыла рот:

– А-ах, вы так...

Тогда я смирился. Я смирился. Сказал, что я взволнован. Извинился. Свои слова взял обратно. Согласилась поправить красными чернилами. Черкнули: «Выдать». Закорючка.

В кассу. Волшебное слово: касса. Не верилось даже тогда, когда кассир вынул бумажки.

Потом опомнился: деньги!

* * *

С момента начала составления ведомости до момента получения из кассы прошло 22 дня и 3 часа.

Дома – чисто. Ни куртки. Ни простынь. Ни книг.

XI. О том, как нужно есть

Заболел. Неосторожность. Сегодня ел борщ красный с мясом. Плавали золотистые маленькие диски (жир). 3 тарелки. 3 фунта за день белого хлеба. Огурцы малосольные ел. Когда наобедался, заварил чаю. С сахаром выпил 4 стакана. Спать захотелось. Лег на диван и заснул...

Видел во сне, как будто я Лев Толстой в Ясной Поляне. И женат на Софье Андреевне. И сижу наверху в кабинете. Нужно писать. А что писать, я не знаю. И все время приходят люди и говорят:

– Пожалуйста обедать.

А я боюсь сойти. И так дурачки: чувствую, что тут крупное недоразумение. Ведь не я писал «Войну и мир». А между тем здесь сижу. И сама Софья Андреевна идет вверх по деревянной лестнице и говорит:

– Иди. Вегетарианский обед.

И вдруг я рассердился.

– Что? Вегетарианство? Послать за мясом! Битки сделать. Рюмку водки.

Та заплакала, и бежит какой-то духобор с окладистой рыжей бородой и укоризненно мне:

– Водку? Ай-ай-ай! Что вы, Лев Иванович?

– Какой я Лев Иванович? Николаевич! Пошел вон из моего дома! Вон! Чтобы ни одного духобора!

Скандал какой-то произошел.

Проснулся совсем больной и разбитый. Сумерки. Где-то за стеной на гармонике играют.

Пошел к зеркалу. Вот так лицо. Рыжая борода, скулы белые, веки красные. Но это ничего, а вот глаза. Нехорошие. Опять с блеском.

* * *

Совет: берегитесь этого блеска. Как только появится, сейчас же берите займы деньги у буржуа (без отдачи), покупайте провизию и ешьте. Но только не наедайтесь сразу. В первый день бульон и немного белого хлеба. Постепенно, постепенно.

Сон мой мне тоже не нравится. Это скверный сон.

Пил чай опять. Вспоминал прошлую неделю. В понедельник я ел картошку с постным маслом и 1/4 фунта хлеба. Выпил два стакана чая с сахарином. Во вторник ничего не ел, выпил пять стаканов чая. В среду достал два фунта хлеба займы у слесаря. Чай пил, но сахарин кончился. В четверг я великолепно пообедал. В два часа пошел к своим знакомым. Горничная в белом фартуке открыла дверь.

Странное ощущение. Как будто бы десять лет назад. В три часа слышу, горничная начинает накрывать в столовой. Сидим, разговариваем (я побрился утром). Ругают большевиков и рассказывают, как они измучились. Я вижу, что они ждут, чтобы я ушел. Я же не ухожу.

Наконец хозяйка говорит:

– А может быть, вы пообедаете с нами? Или нет?

– Благодарю вас. С удовольствием.

Ели: суп с макаронами и с белым хлебом, на второе – котлеты с огурцами, потом рисовую кашу с вареньем и чай с вареньем.

Каюсь в скверном. Когда я уходил, мне представилась картина обыска у них. Приходят. Все роют. Находят золотые монеты в кальсонах в комод. В кладовке мука и ветчина. Забирают хозяина...

Гадость так думать, а я думал.

Кто сидит на чердаке над фельетоном голодный, не следуй примеру чистоплюя Кнута Гамсуна. Иди к этим, что живут в семи комнатах, и обедай. В пятницу ел в столовке суп с картофельной котлетой, а сегодня, в субботу, получил деньги, объелся и заболел.

ХII. Гроза. Снег

Что-то грозное начинает нависать в воздухе. У меня уже образовалось чутье. Под нашим Лито что-то начинает трещать.

Старик явился сегодня и сказал, ткнув пальцем в потолок, за которым скрываются барышни:

– Против меня интрига.

Лишь это я услышал, немедленно подсчитал, сколько у меня осталось таблеток сахарину... На 5–6 дней.

* * *

Старик вошел шумно и радостно.

– Я разбил их интригу, – сказал он. Лишь только он произнес это, в дверь просунулась бабья голова в платке и буркнула:

– Которые тут? Распишитесь.

Я расписался.

В бумаге было:

С такого-то числа Лито ликвидируется.

...Как капитан с корабля, я сошел последним. Дела Некрасова, Воскресшего Алкоголика, Голодные сборники, стихи, инструкции уездным Лито приказал подшить и сдать. Потушил лампу собственноручно и вышел. И немедленно с неба повалил снег. Затем дождь. Затем не снег и не дождь, а так что-то лепило в лицо со всех сторон.

В дни сокращений и такой погоды Москва ужасна. Да-с, это было сокращение. В других квартирах страшного здания тоже кого-то высадили.

Но: мадам Крицкая, Лидочка и котиковая шапочка остались.